

КОЕ-ЧТО О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ И О ДРУГИХ

Бориса Ивановича Бурсова похоронили ранней весной, при изрядном морозе на кладбище в Комарове. Там хоронят видных деятелей литературы и искусства. Под соснами-елями комаровского кладбища Анна Ахматова, под сенью ее креста близкие ей — по местожительству в Комарове — поэты Гитович и Клещенко...

Бориса Ивановича Бурсова опустили в могилу рядом с его соседом по даче Геннадием Гором...

Кладбище в Комарове в боровом лесу; по веснам здесь играют концерты певчие дрозды, а так тихо — вечный покой.

На комаровское кладбище покойнику можно угождать только с разрешения губернатора (прежде — первого секретаря обкома). На хлопоты у губернатора ушло время, Бурсова предали земле на седьмой день после кончины. Покойник — существо терпеливое, безропотное.

Мороз расщипался, шапку снимешь — хватайся за уши. Вышел к гробу академик Панченко, гривастый, с архиерейской бородой, сказал так: «Вы были последним человеком, из ныне живущих, кто говорил моему отцу в Пушкинском доме: «Миша, ты». Вы вместе с отцом ушли на войну. Мой отец не вернулся. Прощайте, Борис Иванович! Царствие Вам небесное!»

Замерзшие, влезли в автобус. Разлили поминальные чарки. Выпили, загомонили. Приехали на поминки под соснами ученики профессора русской литературы Бурсова, нынче сами профессора.

И уехали. А я остался в Комарове, поскольку имею вид на жительство в том самом месте, где витают тени бывших видных деятелей, рядом с ахматовской «будкой». И у меня есть время подумать, повспоминать, как оно было, чем кончилось. (Для видных деятелей — вечным покоем под комаровски-

ми соснами. Комаров тоже был видным деятелем — профессором биологии. Здесь он жила — в Келломяках; его имя присвоили поселку, прижилось. Где упокоился профессор Комаров, никто в Комарове не знает).

С Борисом Ивановичем Бурсовым вышла такая история... То есть я буду излагать историю моего знакомства с профессором или мою версию его истории. В одно прекрасное время мне выпала карта получить жилплощадь в самом старом писательском доме в Ленинграде. В тридцатые годы над трехэтажным домом постройки XVIII века для Коношенного певческого общества — возвели надстройку в два этажа, сселили в дом с признаками двух эпох всех наличных писателей города на Неве (острословы прозвали дом «недоскребом»). В зловещем году из дома на канале увозили по ночам в небытие видных деятелей советской литературы. в порядке поступления доносов. Нынче дом обвешан мемориальными досками, как породистый пес медалями: Шишков, Саянов, Ольга Форш, Рождественский, Зоценко... На нашей лестнице жили в свое время Соколов-Микитов, Томашевский, Рождественский, Зоценко, Кетлинская...

Некоторое время я жил на одной площадке с Борисом Ивановичем Бурсовым. Он был в ту пору полным сил и мыслей литературным «старцем», такого возраста, как ныне я, а я был «выюношей» лет сорока пяти. В дневные часы (в начале семидесятых) литературовед Бурсов исписывал с обеих сторон малого формата листочки совершенно неудобочитаемыми каракулями. Разобрать их, перепечатать на машинке могла только его жена Клавдия Абрамовна. Бурсов писал свою главную книгу — «Личность Достоевского»... В послеобеденное время, поближе к вечеру, мы с Борисом Ивановичем

выходили на прогулку. В порядке вещей; младший вел старшего под ручку. Однажды я написал статейку о наших с профессором хождениях по каналам, канавкам, Мойке, Фонтанке, Летнему саду, Марсову полю... Статейка называлась «Прогулки под ручку». Я ее отдал корреспондентке «Литгазеты» в Ленинграде — газетной барышне. Особы этого рода сохраняют в себе свойства барышень до седых волос. Нынче их расплодилось пруд пруди — на ниве демократии; все испакостили своей безмозглостью, продажностью сатане в обличии демократа. Особенно мутят воду радио- и телебарышни. Тогдашняя барышня статейку мою сочла неудачной: «Не тот уровень разговора». Я послал статейку в редакцию в верные руки (барышню послал в соответствующее место), ее напечатали. Борис Иванович Бурсов «ухмыльнулся в усы» (хотя усов у него не было). Вообще он был саркастический мужчина и вместе с тем трогательно беспомощный, как котенок, в житейских делах.

Двойственность его натуры прочитывалась в выражении глаз: вроде сильный характер, ум хитро-мудрый — и затуманенность, расплывчатость мечтательного существа не от мира сего.

Мы с Борисом Ивановичем проходили под ручку пять лет, за это время я от него воспринял полный университетский курс русской классической и советской литературы, а также диамата, истмата, истории, психологии. Из повести его собственной жизни запомнились такие эпизоды: в бедной крестьянской семье в Воронежской губернии полно детей. Один из них — будущий профессор — заболел тяжелой болезнью, может быть, тифом. Мать молила Бога, чтобы Бог прибрал ребенка: так-то легче и ему, и семье. Ребенок выжил, этот случай запомнил. Если кто-нибудь говорил профессору о преимуществах жизни в крестьянской самодержавной России, в сравнении с послеоктябрьской, он отбрасывал собеседника, по складу ума не доверял чему-либо вне опыта, пусть со ссылкой на высший авторитет. Ум его был по-крестьянски упрямый, хоть кол на голове теши.

В гражданскую войну деревню, где жили Бурсовы, брали красные и белые. Те и другие угоняли со двора главного кормильца — коня. Вместе с конем родители отряжали и отрока Борю, со слабой надеждой коня вернуть, если выпадет случай. Так маленький Боря побывал у красных и у белых, поучаствовал в гражданской войне. Впоследствии в суждениях о литературе, посвященной гражданской войне, прибегал к свидетельствам собственной памяти. Вообще, обширность памяти возвышает ученого-литературоведа над пишущей братией; это — его талант. Особенно высоко профессор Бурсов ставил «Тихий дон» Шолохова — за правду изображаемых событий и музыку русского языка. К инсинуациям вокруг авторства Шолохова профессор Бурсов отнесся с брезгливостью. Для него личность автора сказывается в произведении с той же непотворимостью, как характер в судьбе.

В первый раз юноша Бурсов увидел паровоз, когда ему было семнадцать лет. В беседах Борис Иванович не раз упоминал этот факт своей биогра-

фии — воистину редкостный, в среде даже «красной профессуры». Далее его повела по жизни любовь к чтению книг — эта особенная страсть русских мальчиков, известная из истории литературы, на примере Горького, ближе к нам Шукшина и многих других. Само собою понятно, что при царском режиме крестьянская нужда впрягла бы сына пахара в общее тягло. Ломоносовых единицы, зато полным-полно Ванек Жуковых... Советская власть дала сельскому парнишке путевку на рабфак, потом институт — и откроется дверь в излюбленную науку — русскую литературу.

Борис Иванович любил рассказывать, как его взяли в армию в первый месяц войны, сначала бойцом в пехоту, но пригляделись и произвели в политбойца или что-то в этом роде. На фронтовых совещаниях и слетах читал лекции о патриотизме русской литературы, о Пушкине и Льве Толстом. И что самое удивительное — слушали, затаив дыхание. Так и прошел всю войну в рядах действующей армии, демобилизовался с погонами капитана, с фронтовыми медалями.

Докторскую диссертацию Борис Иванович Бурсов защитил на тему: «Национальное своеобразие русской литературы». Последующие годы отданы Льву Толстому... Ученики Бурсова в университете рассказывали мне, что на его спецсеминары по Толстому стекалось множество народа. Не то, чтобы Бурсов красно баял, напротив, речь его то и дело спотыкалась; он говорил не по-писанному, а на ходу размышлял. Слушатели становились соучастниками рождения мысли. Лектор выдвигал тезу и побивал ее антитезой. В бурсовских семинарах не было ничего освоенного, пройденного: профессор не преподавал свой предмет, а давал пищу для размышления; истину вместе искали. В этом и состоял интерес бурсовских семинаров.

Житейская стезя свела меня с литературоведом Бурсовым в ту пору, когда энергия его ума переключалась с Толстого на Достоевского. Не в том смысле, что профессору наскучил Толстой, увлек Достоевский, нет, Бурсов исследовал космос русской классической литературы и в нем планеты первой величины: Толстой, Достоевский. В то же время прозревались труды-монографии: Пушкин, Гоголь. Бурсова воодушевляла идея не обособления, а взаимопроникновения русских гениев, их единства в высшей точке выражения национального духа. Этой идее подчинены книги «Личность Достоевского» (1972 г.), «Судьба Пушкина» (1985 г.). «Тайна Гоголя» осталась в планах-набросках...

А пока что — погружение в Достоевского — самого непостижимого русского гения, до полного растворения собственного я в его безграничности. Из того времени запомнилась предпринятая нами с Борисом Ивановичем поездка в Старую Руссу. В доме Достоевского на берегу реки Перерытыцы помещалась музыкальная школа: прекрасное дело — детей учить музыке да еще и бесплатно. О таком благе для народа Федор Михайлович едва ли мог и помечтать. Однако профессор Бурсов и я при нем — как водитель машины и единомышленник — нагрянули в Старую Руссу, дабы музыкальную школу

выселить, а дом вернуть его владельцу: пусть в доме обитает дух, тень бывшего хозяина, дом принимает гостей из всех волостей. То есть явилась идея создания дома-музея Ф. М. Достоевского в Старой Руссе, благо дом сохранился в том виде, в каком его приобрел писатель.

Идея исходила от местного жителя Георгия Ивановича Смирнова, учителя истории, в войну командира батареи гаубиц, с иконостасом наград, рубцами и шрамами на тщедушном теле. Георгий Иванович под конец жизни положил все силы, прежде всего, неукротимую силу духа, на служение памяти Федора Михайловича Достоевского в своем родном городе — Старой Руссе, выведенном в романе «Братья Карамазовы» под именем Скотопригоньевск.

Предаться душою Достоевскому — и Федор Михайлович становится той самой печкой, от которой танцуют все танцы; середины здесь не бывает... Георгий Иванович провел нас с Борисом Ивановичем Бурсовым — на местности, с точностью до канавки и ограды, — по сюжету «Братьев Карамазовых»: вот здесь жил Федор Павлович, на этой скамейке сиживал Смердяков, у этого камня Алеша сказал свое слово мальчишкам после похорон Илюшечки Снегирева... В трактире «Столичный город», где Иван Карамазов поведал брату Алеше «Легенду о великом инквизиторе»... Ну да, теперь это столовая общепита... Мы в ней съели по котлетке, запили жидким чаем и поехали в Мокрое — туда, где была пристань на озере, куда примчался Митя Карамазов за Грушенькой — и для своего последнего безудержу... То есть, мы приехали в село Устрека, по топонимике Усть-река (вспомним, что в романе «Бесы» Степан Трофимович Верховенский держит свой последний путь в направлении села Устье, где причаливают курсирующие по озеру пароходы)... Никаких признаков достоевщины в колхозном селе Устрека не сохранилось, но наш чичероне Георгий Иванович Смирнов представил нам неопровержимые доказательства тому, как все здесь было при последнем наезде сюда Мити. И мы поверили. Не поверить ему невозможно: он сам чем-то походил на князя Мышкина... Георгию Ивановичу поверили даже партийные органы в Старой Руссе; музыкальную школу переселили, в доме Достоевского учредили музей... Георгий Иванович Смирнов стал директором музея, привез из Петербурга первый экспонат для него — подлинный зонтик...

Бывало, приедешь в Старую Руссу, придешь в Дом Достоевского, Георгий Иванович встретит — и обратится к хозяину: «Федор Михайлович на нас не обидится. Он рад гостю, если гость приходит с чистыми помыслами. Входя в дом Федора Михайловича, темные мысли надо оставить за порогом...

Георгий Иванович помещал меня на ночлег в кабинете Федора Михайловича, с «Дневником писателя» на столе, раскрытом на «Сне смешного человека». «Прочтите это на сон грядущий, — напутствовал меня старорусский достоевед, — вы лучше поймете Федора Михайловича».

Увы, так было недолго, Георгия Ивановича не стало, и от Дома Достоевского над рекой Перерытицей как будто отлетел дух хозяина. Беззаветно полюбить Федора Михайловича, предаться ему всем существом

— тоже своего рода гениальность. Царствие Вам небесное, любезный Георгий Иванович!

Но увлечение Достоевским таит в себе нечто непредсказуемое, опасное — достоевщину. Право, едва ли можно жить в мире болезненных фантазмагорий романов самого трагического гения XX века и при этом блюсти в себе самом норму общепринятого благонравия. Трудно да и не нужно судить со стороны, что подвигло преуспевающего профессора русской литературы Бурсова, перевалвшего на девятый десяток, оставить обжитой за десятилетия, с отборной библиотекой, кабинетом, прекрасными картинами на стенах, домохозяйкой, никем в своей жизни не бывшей, кроме как профессорской женой... Ах, Боже мой! Где стол был яств, там гроб стоит...

Можно предположить, что на уход из дома Бориса Ивановича Бурсова подвиг пример его кумира (до Достоевского) — Льва Николаевича Толстого... Что касается мотивов ухода... Нельзя же так просто вдруг взять и уйти... Профессора Бурсова знали, любили, опекали, ему завидовали, его недооценивали, попрекали, виноватили без вины... Все в порядке вещей — при занимаемом профессором положении. К месту его пребывания в научном и житейском мире его привязывали незримые нити, даже и канаты...

Помню, раз собрались мы у Бурсова: я, Распутин, Белов, Битов — подрастающая молодежь (при разной степени молоджавости). Бурсов сам выбрал, кого пригласить к себе на журфикс, выставил коньяку, Клавдия Абрамовна подала чай. Но путный разговор как-то не получился, мы понесли кто в лес, кто по дрова. Откуда же нам было тогда знать, что через какие-нибудь пятнадцать лет Битов будет провозглашен «живым классиком» в «демократической» России. Не могли мы предположить, что вскоре уйдет за горизонт наш доброжелательный патриарх, не станет и самого дома Бурсова, где мы попиваем коньячок, как в доме Федора Павловича Карамазова. Воистину, человек есть тайна.

На чем мы остановились? Да, на мотивах ухода Бурсова из дому от жены. Тут чистая достоевщина: ревность, коварство, измена. Профессор уподобляется ревнивцу из какого-нибудь романа Достоевского, ну, хотя бы тому же Федору Павловичу Карамазову или, в фарсовом варианте, старшему Верховенскому из «Бесов». Одержимый самовнушением муж не отказывает себе и в пронительности следователя-психолога Порфирия Петровича из «Преступления и наказания». Находятся улики в неверности жены, пусть тридцатилетней давности, военной поры... Борис Иванович Бурсов уходит из дому, как Лев Толстой, или, ближе по антуражу, как Степан Трофимович Верховенский от генеральши Ставрогинной. Уход мотивируется неверностью жены...

В интеллигентских кругах Ленинграда тогда только об этом и говорили. Конечно, похоже на Толстого, сильно припахивает достоевщиной, но как же Борис-то Иванович будет жить, при его житейской беспомощности? Каково Клавдии Абрамовне одной — большой несчастной старухе после пятидесяти лет безоблачного супружества?

Устройство профессора — выходца из народа — взяли на себя партийные органы, кто же еще? Во внутренние сложности не входили, светило науки надо было сохранить... в рабочей форме. Бурсову дали небольшую квартиру, помогли перевезти необходимые для работы книги (он тогда писал «Судьбу Пушкина»). Все другое осталось разорванным по-живому: на развод, выписку со старого места жительства, прописку по новому и другие акты гражданского состояния чего-то не хватило, то есть профессор пребывал в позе страуса, спрятавшего голову под крыло. Крылом служили партийные органы: надзирали, оберегали...

Последним знаком признания и поощрения доктору филологических наук, профессору, писателю Бурсову со стороны партийного руководства послужило присуждение Государственной премии за «Судьбу Пушкина».

Судьба самого Бурсова с этого времени выпадает из круга внимания и понимания кого бы то ни было. Далее все по сюжету одного из романов Достоевского: рядом с престарелым достоеведом дает о себе знать Грушенька, Настасья Филипповна или Катерина Ивановна — советского образца (советское жизненное устройство стремительно пошло на излет). В последней части придуманного самим для себя романа Борис Иванович Бурсов едва ли играет скольконибудь активную роль. В отличие от Федора Михайловича Достоевского, достоевед не выбирает себе в усладу и единомыслие верную жену Анну Григорьевну, а некая дама выбирает (вернее сказать, подбирает) его. Никому не ведомая особа приходит в профессорскую обитель с улицы (чего в ней нет, так это сходства с Соней Мармеладовой); знакомства, связи, интересы Бориса Ивановича, круг его жизни — чужие для нее и по-видимому опасные; все безжалостно обрубаются. В телефонной трубке всегда женский голос, охранительный, как рык сторожевой собаки. Бурсова к телефону не приглашают, бурсовские друзья выслушивают от дамы отповеди, приводящие в оторопь. Достается и соломенной вдове — старухе Клавдии Абрамовне Бурсовой, ее обвиняют в том, что... она была приставлена к Борису Ивановичу органами НКВД. Разыгрывается спектакль в жанре фантастического реализма.

А силы старца тают... Партийные органы самоупразднились. Перестройка трансформировалась в перестрелку... Помню мое последнее свидание с Борисом Ивановичем Бурсовым: я жил тогда напоселед в Доме творчества Литфонда в Комарове (Дом творчества и Литфонд дышали на ладан); в полночь слышу в холле чьи-то голоса, вышел, вижу — Бурсов, с ним рядом дама, очень черная, жгучая брюнетка... Бурсов посмотрел на меня отрочески (или глубоко старчески) глазами, говорит: «Вот видишь, Глеб, меня, старого русского профессора, ночью выбросили из постели на улицу. Мою библиотеку растащили. У меня нет пристанища».

Впервые я позволил себе обратиться к профессору на ты, по старой дружбе и по мгновенному чувству превосходства над несчастным изгоем: худобедно, у меня куда еще было если не место под солнцем, то крыша над головой:

— Борис Иванович, голубчик, ты же сам своими руками вырыл яму, тебя в нее и скинули...

Бурсов ничего не ответил, поморгал глазами, полными слез. В черных очах его подруги тлела искра неутолимой злобы.

После выяснилось, что с приходом к власти новые хозяева жизни — демократы — пронохали о живущем без прописки в отдельной квартире старике. Выдали ордер на квартиру тому, кому было надо; новый квартировладелец со товарищи приехали под покровом ночи и вытряхнули старика. В точности так поступали совдеповцы после Великого Октября.

Бурсов с мадам стали жить в Доме творчества в Комарове; мадам заприходовали секретарем. На прогулки мадам выводила своего избранника, как уборщица Тоня своего пса Шарика, на веревке. Какие бы то ни было отношения с Борисом Ивановичем пресекались. Однажды я наблюдал сцену: мадам накидывалась на лечащего престарелых обитателей Дома доктора Гуревича: «Вы отправили на тот свет такого-то и такого-то. Вас специально сюда поставили, чтобы вы умертвляли писателей. Теперь вы хотите убить Бориса Ивановича, под видом лечения. У вас этот номер не пройдет! И на вас найдется управа!»

Все же по-видимому была у мадам идея фикс или мания преследования в агрессивной форме. Или у самой у нее было рыльце в пушку...

Доктор Гуревич порывался схватить мадам за полу шубы, препроводить ее в дирекцию, вызвать милицию, составить акт — за клевету... Профессор оборонял подругу, заслонял ее грудью от взбешенного доктора Гуревича. Положение становилось невыносимым, как в романе Достоевского...

Потом Бурсов с «секретарем» пожили на даче Бурсова в Комарове... В свое время «красная профессура» селилась под комаровскими соснами косяками: Плоткин, Нау-мов, Лихачев, Базанов, Бурсов... Из человеколюбия, почтения к преклонным годам и светлой личности Бориса Ивановича свои услуги в качестве истопника и кухонного мужика предложил Глеб Горбовский, тогда не пивший. Он прожил на бурсовской даче недолгое время, после не входил в подробности, а только тяжело вздыхал.

...С некоторых пор на даче Бурсова поселились чужие люди. Прохожу мимо дачи, сжимается сердце: бывало, вон там на веранде мы сживали с Борисом Ивановичем, предавались ни с чем не сравнимой сладости чесания языками, под коньячок... Теперь за забором стоит чья-то машина, похаживает чья-то собака...

Куда подевался Бурсов, мало кто знал; изоляция вокруг него крепчала. Говорили, что он живет в Зеленогорске: дачу выменяли на однокомнатную квартиру... Связи с ним ни у кого из прежнего окружения не было. С момента ухода из дома на канале Грибоедова профессор отсутствовал в течение одиннадцати лет, хотя подавал признаки жизни, точнее, не поступало сведений о его кончине. Скрытно жить можно долго, а как помрешь, все узнают.

Клавдия Абрамовна Бурсова тихо почил в бозе, в квартире Бурсовых поселился неведомо кто.

На могиле Бориса Ивановича на кладбище в Комарове истлели поминальные цветы...

И что же? Каков урок из этой судьбины (вкратце мною изложенной)? Ну да, тот самый, о котором писал юный Федор Достоевский своему брату Михаилу: человек есть тайна. Чтобы разгадать ее, не жаль потратить всю жизнь.

Что особенно занимало писателя Достоевского в судьбах его героев, так это роковая потребность каждого из них попадаться в ловушку, самому себе расставленную. Вспомним хотя бы, как Родион Раскольников, убив старуху и попавшуюся под руку молодую бабу, спустя время, приходит на место убийства, с головой себя выдавая...

В своем капитальном труде «Личность Достоевского», по объему почти равному роману «Братья Карамазовы», ученый-писатель Бурсов досконально изучает ловушки, в кои русский гений только и делал, что загонял сам себя. По мнению Бурсова, тайна человека — в его двойничестве, трагическом совмещении в одном лице двух или нескольких лиц, по природе несовместных. Загнать себя в ловушку, а после выпутываться... Ан, глядишь, времени не хватило или чего-нибудь еще; жизнь коротка.

В «Личности Достоевского» Б. И. Бурсов ведет рассуждение от первого лица, берет себе в собеседники почитай всех корифеев мысли и творчества в истории человечества: Марк Аврелий и Спиноза, Шекспир и Гете, Ницше и Кьеркегор, Кант и Гегель, Сервантес и Томас Манн, Толстой и Пушкин, Гоголь и Белинский... Речь идет не о ссылок на авторитеты, а о поиске истины, кажется, близкой, но все непостижимой. «Личность Достоевского» суть попытка раскрыть тайну художественного гения, нераздельного с человеческой личностью-судьбой.

В труде Б. И. Бурсова нет биографизма, периодизации, разбора того или другого сочинения; перед нами монолог автора на тему, не ограниченную одним именем, уроком одной судьбы. Автор назвал свое сочинение «роман-исследование», но, при некоторой авантюристике (не свойственной автору), можно бы назвать и «поэмой-рассуждением» (не пропустили бы, был же редактор): мысль автора, едва уместившаяся на тридцати шести авторских листах, подчинена личностному началу в собственном ритме, единственной в своем роде поэтике. «Личность Достоевского» как бы ни с чего начата и ничем кончена; в ней сказано как-будто все, чаем питался интеллект ученого-писателя, но я-то знаю, прогуляв с ним пять лет под ручку, что тьма сомнений, предположений, выводов осталась в его мозгу.

Я прочел книгу по выходе ее в свет — бегло, ибо итог на глазах у меня менялся, перерастал в новые замыслы и концепции. Иное дело прочесть труд Б. И. Бурсова нынче. Приближение к Достоевскому не только как к аномалии мирового духа (согласно теориям Фрейда, Шестова, Бердяева, Мережковского), а как к реальной личности русской национальной истории и культуры, обрело новый неожиданный интерес, с оттенком скандальности, как все в наше время: что почиталось вечно хранимым золотым русским фондом, к тому подбирают нынче отмычки современные наши Ракинины.

Б. И. Бурсов трактует личность русского гения как производное от почвы национального бытия, со

свойственным его методологии здравым смыслом, с крепостью крестьянского «заднего ума». Поэтому и воротила нос от книги Бурсова литературоведческая элита, не говоря о «властителях дум» интернационального разлива.

На этом я заканчиваю мемуар о нашей короткой дружбе с Борисом Ивановичем Бурсовым, переходя к тому главному, ради чего... взял в руки перо. Тут как-то включил «Свободу», из Нью-Йорка донесся как всегда запыхавшийся, будто парится в бане, запредельный (за пределами досягаемости), как бы и не человеческий, а голос из машины — Бориса Парамонова, перебежчика 70-х годов, выкормыша «Свободы», то есть госдепа США. «Русские вопросы» — затянувшийся курс русофобии а-ля Парамонов. На этот раз: «Еще о Достоевском»... Слушаю и не верю своим ушам, хотя мои уши слышат «в пределах возрастных изменений». Спрямяля витиеватости речи Парамонова, опуская трескотню мнимой эрудиции, приведу некоторые тезисы. Первое. Достоевский закончился как прорицатель грядущего в русской истории. В «Бесах» выведены типажи революционеров, но революция в России, после семидесяти лет кошмара, закончилась победой демократии. На просторах России воцаряется тот самый капитализм, который принес благоденствие народам Европы и Америки. Миссия Достоевского выполнена. Достоевский предостерегал. Не вняли — и нахлебались. А теперь что же? Адьо, Федор Михайлович!

Второе. Достоевский был болен великодержавным шовинизмом, позволял себе третировать «полячишек», «французикув», «немчуру». Он полагал, что русский народ — богоносец, что Москве отведена роль третьего Рима... Парамонов из Нью-Йорка нас поучает: империя разрушена — наконец-то! С российским великодержавием покончено. Русским надлежит по одежке протягивать ножки. Высокомерие Достоевского по отношению к другим европейским народам нынче можно объяснить, но не разделить.

Третье. Болезнь Достоевского — эпилепсия — не наследственная, а благоприобретенная, то есть это психическое заболевание типа паранойи. Соответственно гениальность писателя можно подвести под психопатологический диагноз...

Еще было четвертое и пятое, но, думаю, довольно и сказанного. Парамонову не терпится отрубить Достоевского от тела русской культуры, так же, как, скажем, отрубили Крым от России, как **семьдесят** лет русской истории — советский период — признали исторически несостоятельным.

Впрочем, уподобления неуместны: романы Достоевского, его личность-судьба, уроки самопознания вошли в нашу умственную, духовную плоть и кровь основополагающим элементом. Ежели мы, русские, не откажемся от права на наш собственный национально-исторический менталитет, без Достоевского мы — лишены.

Мне могут заметить: помилуйте, кто таков Парамонов? Стоит ли с ним спорить? Мели, Емеля, **твоя** неделя. Все так, но, к неоплатному стыду, **надо** со-
знаться, что заморская зараза легко поражает **нашу**

интеллигенцию, образуются очаги парамоновщины и по сю сторону океана. Возьмем хотя бы № 5 журнала «Звезда» за 1997 год, в нем панегирическая статья некоего Арьева по случаю 60-летия Парамонова. Всего одна фраза из текста, писанного мелким бесом: «Что ж, все мы тут, в Питере, вышли из гоголевской «Шинели». Вот и Борис Парамонов тоже — из его «красной свитки». Вышел и порубил ее венским топором. И стало ему веселей». Что ни слово, то ложь и пакость. Выходит, написанное пером можно вырубить топором, если топор венский. Что касается «мы», то есть те, которые «вышли»... Позвольте вам, господа, заметить, вы вышли не из гоголевской «Шинели», а вылупились из личинок Сороса, вы встали на крыло, как летучие мыши на чердаке у Собчака.

Но вернемся к Федору Михайловичу. Чтобы не отлучили нас от Достоевского, я думаю, есть одно средство: читать его сочинения, вдумываться в его судьбу, внимательно пророчествовать гения, по ним определять собственное местонахождение, отрещиваться от своры парамоновых и арьевых, как от сатаны.

Читать романы Достоевского, «Записки из мертвого дома», «Дневник писателя» нынче совсем другое дело, нежели в советское время. Тогда мы жили в некотором неведении, пусть идеологически внушенном, насчет власти денег. Миллион, о котором мечтал Подросток в одноименном романе, представлялся нам буржуазной прихотью, пережитком. А нынче? Старух режут, как куриц — за квадратные метры жилплощади, — и никаких нравственных содроганий. Федор Михайлович предостерегал, а мы самодовольно отмахивались: не про нас достоевщина.

Перечитывая «Бесов», нетрудно сличить героев романа с ура-демократами образца августа 1991 года и позднейшими, ей-Богу похожи. Наши молодые реформаторы по повадкам, ну вылитый Петр Верховенский, а Лямшин, играющий «Марсельезу» вперемешку с «Мой милый Августин...», во вкусе демократического бомонда. Между прочим, предательство пришедших к власти кардиналов по отношению к Российскому государству тоже названо революцией, на этот раз либерально-демократической. И это предвидел Федор Михайлович.

В «Братьях Карамазовых», в самом финале есть сцена: Алеша приходит к Мите в острог на свидание. Митя сообщает Алеше, что станет с ним в ближайшее время, что его вдохновляет. Мите приготовлен побег с этапа, Катерина Ивановна с братом Иваном отправят Митю в Америку, вместе с Грушенькой. А там, в Америке, по Митиному соображению — в глушь, к медведям, три года вкалывать не разгибаясь, учить английский язык, нажить состояние, стать чистым американцем. И вернуться в Россию, и чтобы никто не узнал прежнего русского Дмитрия Карамазова, осужденного судом присяжных за отцеубийство, в котором Митя не виноват.

Ну, право, разве не современно? Разве нет у нас нынче эдаких Митей, наостривших лыжи в Штаты за несбыточным благом? Правда, наивные мечтатели, как Митя Карамазов, перевелись, иные едут,

чтобы скрыться от статьи уголовного кодекса. Но путь давно предугадан.

«Преступление и наказание» в наше время читается как книга книг, если поиметь в виду бескрайний детективный жанр, вне правил психологической правды, литературы, даже и грамотности. Детективщики всего мира так и не создали образа, равного по художественной силе Порфирию Петровичу. Драму «убивца» Родиона Раскольниковова сыщик Порфирий переживает как собственную — кто из них более несчастен? Кто находил в человеческих душах эдакие глубины? Прочтешь «Преступление и наказание» — после и в руки не возьмешь какую-нибудь Агату Кристи или Чейза.

Федор Михайлович Достоевский приблизился к нам, русским конца XX века. Почитайте «Дневник писателя», там все про нас с вами. Опять же приходит на ум персонаж из «Преступления и наказания» Порфирий Петрович, как он сказал Родиону Раскольникову именно то, что надо было тому услышать: «Вы и убили-с». Мы тоже ждем себе приговора, а вынести его некому (находятся, выносят). Но мы бы были другими, если бы не было у нас Федора Михайловича в том далеке, откуда мы родом, потому и веруем в наше Отечество, в нашего Бога. Тем и живы.